

Где-то он их уже видел — и мальчишку, и тех, что перед боем поделились с ним куревом, и глухого на левое ухо контуженого.

Вот и узнавал их, пока бежали наверх. Оставил позади ребят с табаком и полуглухого, только мальчишка орал сорванным голосом «ура» за кустами.

В тот день бежали напрасно: отбросили их с этой высоты. И всех, кого Алёхин узнавал на бегу, положили.

Теперь вокруг были новые — тоже словно знакомые откуда-то, хотя, вероятнее, все они виделись впервые. Некоторым Алёхин, обознавшись, кивал и бубнил «здорово», идя вдоль траншеи.

Медсестра сноровисто перевязывала раненого. Командир вывинтил и задумчиво тёр стекло трофейного бинокля. Курили и невнятно, шепеляво спорили двое старшин. В разных боях им, тогда еще незнакомым, повибывало зубы.

Спорили о Тёркине. Поблизости Митя листал разложенную на шинели «Правду». Митя, да ещё Виктор, насвистывающий в стороне, — последние, кого Алёхин действительно знал в новом батальоне, собранном из мелких черепков разбитых, как чашки из хрупкой человеческой глины, подразделений.

Вскоре батальон разделился на противоборствующие команды. Одни говорили, что Тёркин вполне может существовать: почему ему не быть, мало ли знакомых у поэта Твардовского. Другие полагали, что нет на свете Василия Тёркина, а кто-то даже втолковывал про собирательный образ. Образовалась и третья небольшая группа. В ней были якобы знакомые с Тёркиным лично. Этим особенно не верили, но слушали их упоённо.

Двадцать лет было Алёхину, а на вид он казался помладше. Невысокий, веснушчатый, с выгоревшими, точно летняя кошенина, бровями. Чем-то он и сам напоминал... допустим, не Тёркина, а кого-то из его братьев, существуй они в природе. Алёхин это подумал и обрадовался, как хорошо отыскал для себя роль. Брат, не младший, а, скажем, одногодка, воюет в другой стороне. О Василии узнаёт из газеты, куда тот, зараза, братишка, попал.

Алёхин баловался до войны самодеятельностью, так что роль продумал основательно, разве только без пользы.

Солнце заходило за липки, исчезало.

Комбат отчего-то закашлялся, едва распрямившись над окопом. Издали, наверное, казалось, что его тут же смыло мутной, речного защитного цвета волной поднявшихся бойцов. Но он стоял там же, глотая воздух.

Алёхин быстро глянул на комбата, — тот страшно таращил глаза, плюясь, затем вытер губы рукавом и убежал. Мимо Алёхина, канул в облако речных защитных спин, туда, где уже начинался гром.

Опрокидывались спины, сражённые опасным красно-бурым цветом. Поднялись впереди столбы земли. Пришёл бой — как обрушивается вдруг на бегущую из-под грозы улицу тяжёлый ливень.

Уже окунулись в чадающую и бросающую мины рощицу. Миновали те липки, до которых прежде только раз доходили.

Снова занимали высоту, в пятый раз шёл батальон.

— Матч близится к концу! — надрывался солдат возле уха. — Счёт три ноль в пользу «Динамо»!

Снова бежал, падал, целился, бежал вместе с другими.

И когда рядом упала граната, сержант только и успел отпрыгнуть и повалиться ничком, и не задело ведь, удачно попал Алёхин в старую воронку. Над самой каской вжикнули осколки. Но вот беда: у немца того, явного смертника, выбросившего пустой автомат и остановившегося посреди дуга, была вторая граната. Её он и кинул вдогонку. Упала она метрах в двух, примяв кустик болиголова. Не до конца, одна веточка распрямилась и помахала светлым, даже ночью видимым соцветием.

Тогда на Алёхина обрушилась усталость. Спать захотелось не просто сильно, а именно что смертельно. Не уснёшь — смерть тебе, сержант.

Всё-таки не уснул. Увидел, как вываливается сзади Митя и падает на гранату. С отчаянной уверенностью, что в этот раз бежали и стреляли не зря, падает, спасая залёгших в кустах бойцов. Митя упал неловко, не грудью, как хотел, а плечом.

Ударило землёй и воздухом, Алёхина подкинуло, а когда обрушило, был уже рассвет. Трогая исцарапанную щёку, склонился над Алёхиным давешний солдат.

— ...Думали, умер, а ты стонешь, — удивлялся солдат. — Всё, выбросили мы их оттуда. Всё-всё-всё. С...ли они, наша высота, наша. Победа «Динамо», так их всех. Наша победа.

— Победа... — шевельнул губами сержант. И вдруг понял, что это значит — победа. И сильнее контузии его ударила мысль: войны больше нет. И снова потерял сознание Алёхин уже в мирное время.

Госпиталь расположился в бывшей сельской школе.

Каково сейчас тем ребятам, что здесь учились? Теперь лежит в их классе боец, сержант Алёхин. И ещё одна койка рядом — пустая. Одного унесли, другого ещё не положили.



Светло и громко было за окном снаружи. Кипело горячими кронами лето, шумели под ветром жёлтые ковыли, не вытоптаннные до сих пор, и серая глупая птица клевала соринку в трещине оконной рамы.

Ох, и полно же народу теперь в госпиталях, думал Алёхин. Все, кто был ранен и наспех перевязан, все вернувшиеся на фронт, едва оправившись, — лежат теперь снова. Лечатся, готовятся ехать в Крым или в Кисловодск.

Сержанту в госпитале делать нечего.

Потому что скоро явятся эвакуированные из Берлина антифашисты, подпольщики. Где им ещё жить, как не здесь. В Берлине-то уж точно никого нет, потому что — прошлись по Берлину танки, и силами сорока дивизий сравняли город с землёй, раздавили каждый дом на кирпичи; потом прошла пехота, и не парадным шагом, а вразнобой, как по мосту, и растоптала кирпичи в пыль; потом провезли по ровной земле орудия, и напоследок ударили над пыльной бескрайней площадью «Катюши»...

Не стало города. А все коммунисты, оставившие берлинские квартиры, заседают наши школы и госпиталя.

Алёхин полежал еще минут пять и вылез через окно.

— Эй!.. раненый!

Такой же сержант, и возраста, кажется, одного.

— Ты... — сказал Алёхин и запнулся. — Братишка, ты скажи только. Как?! Я ведь контуженный провалялся, я не знаю. Ты скажи — как оно было-то? Как мы их разбили?

— Не знаю, — шмыгнул носом братишка. — Я сам только сегодня утром приехал, с артиллерией.

— Артиллерия! — засмеялся Алёхин. — Нужны теперь твои пушки! Ну, я это... поздравляю, что ли. Ведь сдохли немцы. Это ведь... — Алёхин неуклюже обнял артиллериста. — Поздравляю.

Была победа, и все ходили особенные, новые. Люди привыкали к мирной жизни.

Была победа, и в Москве, наверное, уже гремел салют. Или он гремел прошлым вечером? Какой же салют днём.

Алёхин не знал, кем он теперь будет. Профессии он не имел. Ёлки-палки, нетрудно, может, будет выучиться на актёра. И театров по стране — выбирай.

— Витя-а!

Витя, насвистывая, чистил ПППШ. Откликаться не собирался.

— Глухота... — досадливо сказал Алёхин. — Ты скажи, — он снова обернулся к артиллеристу, — по радио что говорили? Салют уже был?

— Какой салют? — поразился артиллерист.

— Не было? Ну, тогда, может, и успеем в Москву-то? До салюта — успеем?

— Ты сдурел? Какой ещё салют?

— Победа, ...!

— Тебе мозги отбило? Какая победа. Немцы силы подтягивают, нужно не отдавать им эту высоту опять, мать их так. Здесь артбатальон расположится.

Алёхин заморгал.

— Тьфу ты, чёрт. Правда, сдурел, — и, содрогнувшись всем телом, хмыкнул, — Разметался.

Хорошо, хоть высоту заняли.

Война идёт.

— Витя, глухарь, ты чего не оборачиваешься?

— А что, — равнодушно сказал Витя, ковыряя чужим штыком звёздочку на прикладе.

— Витя, — попросил Алёхин, страшно беспокоясь, что в его голосе заметна фальшь. — Дай, пожалуйста, свой автомат.

— Зачем? — удивился Витя. — Зачем тебе?

Алёхин, уже не видящий его, вцепился в ППШ обеими руками, рванул.

Потому что была война. Алёхин знал, что не увидит её конца. Ведь уже не дожил — много ли жить бойцу с одним автоматом, когда рядом никого из наших? И начался бой. Первых немцев Алёхин снял быстро, но потом его заметили, и пришлось откатиться за блиндаж. Только бы не граната, думал сержант, паля из-за стены. Он стрелял долгой очередью, потом выпрыгнул из-за блиндажа — патроны кончались, и прятаться смысла не было, — и снова плеснул в подступающих немцев смертельным треском выстрелов.

И стрелял, пока младший лейтенант Черных не убил Алёхина выстрелом из винтовки.

В него выстрелили ещё дважды — хотя безумие в сержанте больше оставаться не могло.

Младший лейтенант Черных, отчаянно бранясь, закинул винтовку за плечо и бросился к убитым.

В двадцати километрах к востоку в эти мгновения рядовой Сандро Баучидзе вбивал, как гвозди, пальцы в клавиши аккордеона и почти без акцента пел:

За них, родных,

Любимых, желанных таких,

Строчит пулеметчик за синий платочек...